4. Кьеза Джульетто. Слово Ренци. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/640392#ixzz4OBQlqQnK
5. Ленин В.И. О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – Издание пятое. – М.: Издательство политической литературы, 1970. – Т. 45. – С. 381.
6. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – Т. 3. – С. 34.
7. Фукуяма Ф. Конец истории? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_Fuk_EndIst.php
8. Энгельс — Иосифу Вейдемейеру, 12 апреля 1853 г. // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. – Т. 28. – С. 485–493.

Ципко А.С. Философское родство революционизма Николая Бердяева и Владимира Ленина[1]

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу представлений Владимира Ленина и Николая Бердяева о революции. Рассмотрены их представления о буржуазном обществе, эволюция взглядов Николая Бердяева на коммунистическую идеологию и практику построения советского общества.
Ключевые слова: марксизм, социализм, славянофильство, революция, большевизм, советское общество

Tsipko A.S. The philosophical kinship of the revolutionism of Nikolai Berdyaev and Vladimir Lenin
Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the ideas of Vladimir Lenin and Nikolai Berdyaev on revolution. Consider their ideas about bourgeois society, the evolution of the views of Nikolai Berdyaev on Communist ideology and practice of building the Soviet society.

---

[1] Ципко Александр Сергеевич, главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН, доктор философских наук, профессор, г. Москва. Работа выполнена в рамках реализации исследовательского проекта Фонда «Институт соцально-экономических и политических исследований».

Keywords: Marxism, socialism, Slavophilism, revolution, Bolshevism, the Soviet society

Казалось бы, приближающийся столетний юбилей Октября – прекрасный повод подумать о непреодоленном трагизме нашей русской истории, понять не только, почему гуманистическая христианская традиций нашей культуры всегда в критические минуты русской истории уступает место русской жажде крови, но и почему русские люди в большинстве идут за теми, кто призывает их умирать во имя «пустых идеалов». Великий Октябрь обернулся для русских людей не только утратой «цвета нации», о чем говорил в своем выступлении на Бутовском полигоне Владимир Путин, но и крепкого крестьянина, утратой той высокой культуры мышления, которая была характерна до 1917 года для образованной России. Сравните дореволюционную русскую публицистику, дореволюционную русскую гуманитарную науку с советской журналистикой, а тем более – с советской общественной наукой, и вы поймете, как деградировала русская мысль после 1917 года. Оказывается, что тексты Священного писания куда больше стимулировали поиск истины, чем тексты Карла Маркса, тем более – тексты Владимира Ленина. Для любого русского образованного человека, живущего в системе христианских, гуманистических ценностей, наступающий юбилей Октября – прекрасный повод понять, почему победа в революции, начатой в феврале 1917 года, оказалась за проповедниками насилия, эксплуатирующими самые низменные страсти человека – злобу, зависть, агрессию, жажду расправы, оказалась за людьми, моральную физиологию которых олицетворял Владимир Ленин. Обычно говорят: «Победителей не судят». Но все-таки важно понять, почему только в России добились успеха политики, проповедующие «идеалы» якобинского террора, победили подлинные марксисты, сторонники «истребительного», как говорил Ленин, подхода в политике.

И сопоставление личности, мировоззрения «веховца» Николая Бердяева, последователя гуманистической традиции Федора Достоевского, певца «свободы» христианского персонализма, с мировоззрением Ленина как последователя

Чернышевского, русского якобинства, на мой взгляд, может помочь нам понять, что произошло в 1917 году, почему у людей, противников революционного нигилизма ленинцев, их «истребительной» политики и практики террора, не было никаких шансов противостоять надвигающейся катастрофе 1917 года. И, как я попытаюсь показать в этом тексте, на самом деле и у противников русского революционизма, жаждущего жертв и моря крови, было, тем не менее, много общего с теми, кого они называли «злодеями» и «убийцами». Сопоставление мировоззрения, политических взглядов Владимира Ленина и Николая Бердяева, на мой взгляд, важно, ибо оно показывает, что является целью моего исследования, что на самом деле и веховцы, по крайней мере Николай Бердяев, тоже несли в себе то, что отличало жестокого и последовательного Ленина, а именно характерная для русской интеллигенции атрофия чувства реальности, жажда «невозможного», дефицит способности отличать «пустые идеалы» от подлинных христианских ценностей.

Сейчас я даже не о неизбежных негативных моральных, духовных последствиях гламуризации советской истории. Сейчас, накануне приближающегося юбилея ленинского Октября, на мой взгляд, важно в конце концов понять, почему все-таки у русских меньше, чем у других народов, развит инстинкт противостояния садомазохистским настроениям, меньше развит инстинкт самосохранения, почему наш народ идет не за теми, кто призывает облагораживать, очеловечивать ту жизнь, которая есть, а за проповедниками «пустых на поверку идеалов», кто зовет к невозможному, к тому, что никогда не было и вряд ли будет. И самое главное. Почему у нас народ идет не за теми, кто призывает сохранить, защитить человека, а за теми, кто жаждет жертв, крови, гибели людей. Почему у нас до сих пор поклоняются Ленину, никогда не скрывавшему свою жажду жертв, жажду гибели как можно большего количества людей, поклоняются Ленину как стороннику, по его словам, «расстрельных» методов борьбы за власть.

Но прежде чем искать общие родственные черты всей русской интеллигенции, способствовавшие гибели России в 1917 году, надо, в конце концов,

понять, увидеть дьявольскую, античеловеческую сущность самого победителя, моральную природу политиков, которые все-таки, опираясь на поддержку подавляющей части населения, победили в гражданской войне 1918 – 1920 годов. Ведь не было в истории человечества политика, кроме Ленина, который бы так откровенно призывал умирать во имя идеи. На самом деле Владимир Ленин был больше Робеспьером, чем сам Робеспьер, больше якобинцем, чем сами якобинцы. Чего стоит только его призыв к коммунистам Европы на III Конгрессе коммунистического Интернационала в июле 1921 года не бояться жертв, не думать о количестве жертв. «Мы постоянно говорим, – обращался к делегатам III Конгресса коммунистического Интернационала Владимир Ленин (на II Конгресса об этом тоже говорилось), – что революция требует жертв. Есть товарищи, аргументирующие в своей пропаганде следующим образом: мы готовы произвести революцию, но она не должна быть слишком тяжелой. Если не ошибаюсь, это положение было высказано тов. Шмераем в его речи на чехословацком партийном съезде. Если все это правда, то я должен заявить, что такая агитация не коммунистическая и не революционная. Естественно, что каждая революция влечет за собою огромные жертвы для класса, который ее производит… Диктатура пролетариата в России повлекла за собою такие жертвы, такую нужду и такие лишения для господствующего класса, для пролетариата, каких иногда не знала история, и весьма вероятно, что и во всякой иной стране дело пойдет точно так же» [13, С. 45-46].

Сам по себе спор между чешскими и российскими коммунистами о том, как надо проводить пролетарские революции, спор между Лениным и Шмералем об отношении к жертвам является свидетелем о нашей русской особости. И эта особость проявляется в том, что для русских жизнь человеческая стоит меньше, чем для европейцев-чехов. Сравните концепцию пролетарской революции Грамши, изложенную в Третьем томе его «Тюремных тетрадей», с теорией революции Ленина, и вы обнаружите, что даже лидер итальянских коммунистов был оппортунистом в сравнении с Лениным. Ни один из политиков XX века, кроме, разве, Гитлера, не призывал так откровенно к убийствам, по его же

словам – к «истреблению» противника, как Владимир Ленин. Победил в 1917 году русский политик, который призывал к жертвам, рассматривал убийство своих политических противников как необходимое, не просто как нечто неизбежное, а как необходимое условие победы в политической борьбе. Смерть в данном случае рассматривалась как необходимое условие зарождения новой жизни. И в этом была его особенность. Он связывал понятие «революционность» с практикой физического уничтожения своих противников. Суть большевизма – в идеологии якобинства, в использовании «революционного терроризма», говорил Ленин в своей исповеди революционера, в своей работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции» оппонентам-меньшевикам. Да, мы, большевики, говорил Ленин, «якобинцы современной социал-демократии, мы хотим, чтобы народ, т.е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление…» [11, С. 47].

Победили в России в 1917 году люди, представители российской революционной интеллигенции, которые, как Ленин, рассматривали убийство людей, даже невинных, не участвующих в гражданской войне, как средство достижения высших исторических целей. Никто, кроме большевиков, не говорил открыто об убийстве как о средстве социальной профилактики, как средстве лечения, оздоровления общества. Григорий Зиновьев, друг и соратник Владимира Ленина (сентябрь 1918 года): «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожить». Яков Свердлов (январь 1919 года): «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно». Николай Бухарин: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

И, конечно, сам Ленин, главный герой не только Октября, но и всей советской эпохи, с первых месяцев революции до конца жизни в своих бесконеч-

ных записках призывает «расстрелять», как можно больше людей «расстрелять», призывает к террору, грабежу собственности. И самое поразительное – к усилению террора и репрессий Владимир Ленин призывает уже после окончания гражданской войны, когда победа красных, большевиков стала неоспоримой. Конец января 1922 года, записка заместителю председателя ВЦИК И.Уншлихту: «…усилить быстроту и силу репрессий, усилить внимание ЦК к этому». В марте 1922 года, в разгар кампании по разграблению церквей Ленин, как всегда «строго секретно», приказывает: «…изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше». И, наконец, незадолго до полной утраты работоспособности, осенью 1922 года, Ленин пишет своему заместителю в правительстве Л.Каменеву: «Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору, и к террору экономическому».

И если бы современная русская нация смогла бы всерьез отнестись к столетнему юбилею ленинского Октября, была бы способна серьезно задуматься о своих судьбах, о своем будущем, то она должна была хотя бы задать себе целый ряд трудных вопросов. Почему у нас в России в критические минуты истории инициатива оказалась у политиков, жаждущих смерти, гибели как можно большего количества людей, почему русский народ в конце концов пошел за ними, доверил им свои жизни, свои судьбы? Почему самая кровавая гражданская война в истории Европы все же была у нас, у русских? И самое трудно объяснимое. Почему нынешнее поколение русских людей, зная о страшной цене, заплаченной за победу Ленина, тем не менее продолжает явно и тайно поклоняться этим певцам смерти, славить большевистский переворот, который обернулся насильственной смертью для десятков миллионов людей? Почему у нас главным героем не только советской, но и российской истории стал человек, который уже отличался запредельной, апокалипсической жестокостью, ко-

торый даже опередил Гитлера по количеству убиенных, замученных за время своего четвертьвекового управления Россией?

Обычно принято оправдывать репрессивный характер личности Ленина, в отличие от садиста-маньяка Сталина, фанатизмом вождя революции, его неиссякаемой верой в истину марксизма, верой в коммунистические идеалы. Но ведь люди, которые знали Ленина, наблюдали за формированием его политической стратегии, к примеру, меньшевик Николай Валентинов, пришли к выводу, что революционизм Ленина, его жажда драться, как он сам говорил, «по-пролетарски давать в морду, в морду», вырастал не только из теории, из учения Карла Маркса о диктатуре пролетариата, а из особенностей его психологии. Многие представители российской интеллигенции начала XX века, все создатели русской религиозной философии начала XX века увлекались марксизмом как теорией естественноисторического развития человечества. Их привлекал в марксизме европеизм, исторический оптимизм. Но те, кто жаждал войны, драки, кто нес в своей душе агрессию, становились сторонниками марксизма в подлинном смысле этого слова, начинали исповедовать учение Карла Маркса о диктатуре пролетариата.

И здесь уже желание самореализации в революционной борьбе, в драке было превыше всего. Уже в начале века, пишет Н.Валентинов, и без Бернштейна было видно, что «ортодоксальный марксизм» с его учением о неизбежной победе пролетарской революции, с его «броней ортодоксальности» находится вне множества вопросов, на которые он «бессилен дать ответ». Но по свидетельству его современников, того же Сергея Булгакова, он, Ленин, мыслил «нечестно», ибо выпихивал из своего сознания те факты, которые могли подорвать его веру в торжество коммунизма, лишить его права быть революционером, звать людей к революции, к жертвам, к смерти. И именно этой верой в дело и истину революции он подкупал людей. И это, считал Н.Валентинов, говорит о том, что за революционизмом Ленина стояла не столько жажда осчастливить рабочий класс, сколько жажда самореализации в своем личном деле. Тем более, что Ленин, который был невысокого мнения о русском народе, в целом еще в

годы зарождения большевизма говорил о неизбежности «щелчков», «репрессивных мер» по отношению к остальным народным массам.

Теперь уже невозможно сказать, чего было больше в душе первых русских якобинцев, последователей Н.Г. Чернышевского, того же Зайчевского, который в своей шокирующей прокламации, появившейся в мае 1862 году, попытался объяснить, что значит на практике знаменитое «К топору зовите Русь» (из письма «Русского человека»). Чего больше? Любви к народу, сострадания к нему или болезненной жажды крови, жажды разрушения, неслыханных потрясений, жажды русского Апокалипсиса. Это действительно была одна из самых кровавых русских прокламаций. «Мы будем последовательнее великих террористов 1792 г., – говорилось в ней. – Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 1790-х годах… С полною верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «К топору!» И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелиться выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против: кто против – наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами» [7, С. 115].

Нетрудно доказать, что политическая программа Ленина, программа большевиков во время первой русской революции дословно, до деталей повторяет прокламацию Зайчевского. В ней нет только призывов убивать императорскую партию дома и в тесных переулках. Но Ленин в своей работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции» призывает к беспощадной расправе с «монархией и аристократией», говорит, что они, большевики, «якобинцы современной социал-демократии», «…хотят, чтобы народ, т.е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества,

надругательства над человеком» [11, С. 47-48]. Ленин, как и последователи Н.Г. Чернышевского, русские якобинцы, прямо заявляет, что террор, смерть врагов является необходимым условием победы революционеров. «Удастся решительная победа революции, – тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински или, если хотите, по-плебейски». «Весь французский терроризм, – писал Маркс в знаменитой «Новой Рейнской Газете» в 1848 году, – был не чем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством…» Думали ли когда-нибудь о значении этих слов Маркса те люди, которые пугают социал-демократических русских рабочих «якобинизмом» в эпоху демократической революции?» [11, С. 47].

Так вот, что касается Владимира Ленина, очень трудно доказать, что у него жажда крови, расправы, жажда убийства аристократии (и, обратите внимание, мещанства), что у него, как он сам любил говорить, «истребительный» характер его мировоззрения вытекал всецело или по крайней мере частично из его любви к народу, из гуманистических побуждений. Надо знать, что не учитывают нынешние адепты учения об особой русской цивилизации, связывающие «великий Октябрь» с русской идеей, что у Ленина как марксиста не было и следов «народопоклонства», преклонения перед народом, которые отличали народовольцев. Для Ленина, о чем свидетельствует все его творчество и та же его работа «Две тактики…», русские со своим «азиатским бытом» – отсталый, варварский народ. Ленин никогда не был славянофилом, он был жесткий западник, левый западник, отличающийся весьма невысоким мнением о своем народе. Об этом свидетельствуют все его статьи и записки последних лет жизни. Сама по себе Россия и ее пролетарская революция для него были лишь прологом, предпосылкой будущей, как он считал, социалистической революции в цивилизационно превосходящей Россию Германии. «Если в Германии революция еще может «разродиться», писал Ленин в 1921 году в статье «О продовольственном налоге», наша задача – учиться государственному капитализму у немцев, <u>всеми силами</u> перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь пе-

ред варварскими средствами борьбы против варварства» [12, С. 211]. Ленин откровенно призывает варварскими, т.е. плебейскими методами, путем насилия цивилизовать русских, приучить их к дисциплине, добросовестному труду и т.д. «У нас (у русских – А.Ц.), наконец, нет ни высокой культурности, ни привычки к «компромиссам» [12, С. 215]. Мы, русские, «боимся посмотреть прямо в лицо «низкой истине» и слишком часто отдаем себя во власть «нас возвышающему обману» [12, С. 227]. Здесь Ленин приводит слова из стихотворения А.С. Пушкина «Герой». И так до бесконечности. Все это Ленин. В последних письмах и статьях, в тексте «К вопросу о национальностях или об «автономизации» Ленин дает полный простор своей откровенности и говорит, что «истинно русский человек, великоросс» является «шовинистом, в сущности подлец и насильник». Здесь же «шовинистическая великорусская шваль» – это подавляющее большинство народа, а не только «типично русский бюрократ».

О какой любви к народу как к конкретным людям может идти речь, когда мы говорим о Ленине, который еще в студенческие годы, во время формирования своей революционности говорил о том, что чем больше голод 1891 года убьет крестьян, тем лучше для дела грядущей революции, ибо это будет способствовать росту его, крестьянина, ненависти к самодержавию. Наши нынешние «безбашенные» недообразованные патриоты не знают, что, поклоняясь Ленину, мы возвращаемся к русофобии русских марксистов.

Говоря о Ленине, мы имеем дело с типичным марксистом, для которого главной ценностью является логика движения человеческой истории, которая, с его точки зрения, неизбежно, через гибель как можно большего количества людей должна привести человечество в принципиально иной мир, привести от «предыстории» к «подлинной истории». Учение о коммунизме, которое действительно исповедовал Ленин – это один из вариантов древнеиудейской эсхатологии, веры в то, что, благодаря гибели мира частной собственности, гибели капитализма, человечество облагородится, перейдет в качественно иное, подлинно духовное состояние. Отсюда и поразительное ленинское равнодушие к гибели людей, к неизбежным, как ему казалось, жертвам этого неумолимого

движения человечества к коммунизму. Уже Семен Франк в «Вехах», в своей статье «Этика нигилизма» (1909 год) показал, что на самом деле за большевизмом как подлинным «революционизмом» стоит не ценность жизни, не, тем более, ценность человека, а «ценность» разрушения. И, честно говоря, никто, кроме Семена Франка, не смог лучше и глубже выявить исходный аморализм, исходную античеловечность, которая неизбежно вытекала из веры революционного социализма, тех же большевиков, в неизбежность всечеловеческого счастья. «Теоретически в основе социалистической веры лежит … стремление к благу ближнего, но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам. Социалист – не альтруист: правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою идею – именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и, с другой стороны, – виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдаленным потомкам, … последних он ненавидит и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устранению земного рая становится страстью к разрушению..» [8, С. 183].

Все, сказанное Семеном Франком об устройстве души социалиста-революционера целиком относится и к Владимиру Ленину. Отличие состоит только в том, на что обращал внимание тот же Николай Валентинов, что сам Ленин призывая других, свою партию, «к драке», не обладал «гармонией слова и дела». Он никогда не пошел бы на улицу «драться», сражаться на баррикадах, под пули. Это могли и должны были делать другие люди, попроще, отнюдь не

он. В своих произведениях, призывах, воззваниях он «колет, рубит, режет», его перо дышит ненавистью и презрением к трусости. Можно подумать, что это храбрец, способный на деле показать, как не в «фигуральном», а «в прямом, физическом смысле» нужно вступить в рукопашный бой за свои убеждения. Ничего подобного! Даже из эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стремглав убегал. Его правилом было уходить по добру по здорову» – слова самого Ленина – от всякой могущей ему грозить опасности. Мы знаем, например, из его пребывания в Петербурге в 1906 – 1907 гг. (он жил тогда под чужим именем), что эти опасности он так преувеличивал и пугливое самообережение доводил до таких пределов, что возникал вопрос: не есть ли тут только отсутствие личного мужества?» [7, С. 47].

И здесь возникает главный вопрос. А чем может помочь нам Николай Бердяев, не революционер, а философ-идеалист, идейный и политический противник Ленина, в отличие от него исповедующий не диалектический материализм, а идеализм, в понимании причин победы Ленина как идеолога разрушений и классовой ненависти, в понимании причин популярности именно такого типа политиков у русского народа. Имеем ли мы право как-то связывать лики этих во многом полярных, противостоящих друг другу представителей российской интеллигенции при анализе уроков Октября? И действительно, тексты Николая Бердяева дают основание доказать, что чаще всего он, Николай Бердяев, олицетворял полную противоположность миросозерцания Владимира Ленина. Подавляющее большинство текстов Николая Бердяева дает основание сказать, что Николай Бердяев олицетворял так называемую «веховскую идеологию», которая с 1909 года, со времени опубликования сборника статей «Вехи» противостояла человеконенавистнической сути марксистского революционизма Владимира Ленина, большевиков.

Отличие Николая Бердяева от других отцов русской религиозной философии начала XX века, от Семена Франка и Сергея Булгакова, которые, с момента появления большевиков на политической сцене, на протяжении всей своей жизни разоблачали их античеловеческую сущность, Николай Бердяев во

многих своих послереволюционных текстах, а особенно в своих «Истоки и смысл русского коммунизма», неожиданно находит оправдание тому, что он сам называет «уникальной жестокостью большевиков». Более того, он даже находит аргументы, оправдывающие само существование созданного большевиками советского государства. Отсюда и кричащие противоречия, кричащая непоследовательность Николая Бердяева как в оценке аморализма Константина Леонтьева, как в оценке славянофильства и их учения об «особой русской цивилизации», так и в оценке учения самого Карла Маркса.

Мы, представители советской интеллигенции, уходившие в середине 60-х от марксизма с помощью текстов запрещенного в СССР Николая Бердяева, прежде всего с помощью его текстов, опубликованных в сборниках «Вехи», «Из глубины», читали его как-то особенно, не вникая до конца в подлинный смысл его слов. Лично я изучил его «Самопознание» в самом начале 90-х, но я почему-то не обнаружил в его тексте то, что шокировало его современников, многих представителей русской эмиграции во Франции, а именно его попытки если не морально, то исторически оправдать и советскую власть, и советский коммунистический эксперимент. Но тем не менее я не согласен с тем, что я попытаюсь доказать дальше, что эта бердяевская непоследовательность, противоречащие друг другу высказывания Николая Бердяева по одному и тому же поводу, идут, как считал хорошо знавший его Андрей Белый, оттого, что якобы, на самом деле, у него вообще не было цельного мировоззрения. Для Андрея Белого, как мы знаем, он «казался не столько творцом, сколько лишь регулятором гаммы мировоззрений». «Мировоззрение Бердяева, – писал в своих воспоминаниях Андрей Белый, – мне виделось станцией, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей: собственно идеи Бердяева среди «идей Бердяева» бывало, никогда не отыщешь: это вот – Ницше, это вот – Шеллинг, то В.С. Соловьев; то Штейнер…Мировоззрение – центральная станция; а Бердяев в ней исполняющий функцию заведующего движением. – Скорее всего чиновник и менее творец… Порядок же пропуска поездов исполнялся

жандармами от якобы интуитивного виденья; верней, собственного произвола, вне которого и нет «центральной станции» [1, С. 414].

В том-то и дело, что суть мировоззрения Бердяева лежала в его «интуиции» русского мистика, последователя мистики Якоба Бёме, в мировоззрении которого трансцендентное, т.е. идея, отталкивало от себя трансцендентальное, т.е. то, что существует в данный момент. Так и у Бердяева, идея истории все время отталкивает от него то общество и того человека, который живет сегодня. Как мне кажется, что не осознавал сам Николай Бердяев, его страсть погружения в мистический смысл истории, он говорил об «историческом смысле» происходящего, как раз и вело его к измене идеалам и ценностям европейского гуманизма. И получалось, как и у марксистов-большевиков. Для него был ценен человек, который заложен, якобы, в смысле истории, но не тот человек, который живет сегодня.

И самое главное. В этой власти мистики истории над простым чувством сострадания к ближнему как раз и кроются срывы Николая Бердяева в нечто надчеловеческое, а очень часто – просто садистское. И, на мой взгляд, трагедия Бердяева состояла в том, что чем ближе он был к смерти, тем больше надчеловеческое брало в нем верх. И в этом какой-то парадокс: смерть любимого кота Мури была для него страшной трагедией. В своем «Самопознании» он к этой проблеме возвращается несколько раз. А вот муки тех русский людей, которым выпало на долю, как он считал, осуществить в жизни «мистику человеческой истории», которым было суждено вместе с ужасом мук и страданий идти до дна гражданской войны, это было уже для него нечто, с чем можно было примириться.

И здесь в приоритете «интуиции», т.е. того, что, с его точки зрения, было заложено в самой мистике истории, он был такой же национальный тип, как и марксист Владимир Ленин. Ленин как марксист тоже во главу угла ставил мистику истории, как любили говорить марксисты, «загадку истории», а именно победу коммунизма. А потому ему, Ленину, было абсолютно безразлично, о чем он откровенно говорил, каковы будут жертвы на пути к этой высшей цели.

Драма, а, может быть, особенность Николая Бердяева как русского мыслителя в том, что и в его мировоззрении есть все то, в чем он обвинял не только Ленина, но и Карла Маркса, есть признаки мессианизма, хилиазма, ожидания смерти мира, который есть, и тем самым иногда проявляется чисто марксистское безразличие к тому миру, который есть сегодня. И что поразительно, вопреки своему декларируемому христианскому мировоззрению – безразличие к судьбам тех, кто живет сегодня.

Николай Бердяев такой же национальный тип, как и Владимир Ленин. По крайней мере, и я это попытаюсь доказать, русский мессианизм присущ Николаю Бердяеву в равной мере, как и Владимиру Ленину. У Бердяева мессианизм даже выражен сильнее, чем у атеиста Ленина. И, как свидетельствуют поздние работы Николая Бердяева, особенно «Истоки и смысл русского коммунизма» и его «Самопознание». В его, Николая Бердяева, миросозерцании оказалось так же много «истребительного», как и у последователя Николая Чернышевского, русских народовольцев Владимира Ленина. Только один пример, но крайне показательный.

Учение Николая Бердяева о революции, которое Николай Бердяев излагает отдельным параграфом в своих «Истоках», начисто перечеркивает его гуманизм, его человеколюбие, его в лучшем смысле «достоевщину», побуждающие его на других страницах говорить о родстве человеконенавистнической сути большевизма и национал-социализма. Николай Бердяев до конца дней своих, как выясняется, несет в своем сознании все те черты, которые он одновременно критиковал во многих случаях и которые, как он писал, мешают русскому человеку обрести наконец чувство реальности, преодолеть мистицизм, иррациональность мышления, легковерие, податливость к «пустым идеалам», которые мешают ему, русскому человеку, очеловечить наконец свою собственную русскую идею.

Но сначала приведу целиком рассуждения Николая Бердяева об историческом, всечеловеческом смысле революции в истории человечества и ленинской, большевистской революции в частности. Революции, настаивает Николай

Бердяев, во втором специальном параграфе главы «Русский коммунизм и революция», при всех своих ужасах имеют не только социальный, но и религиозный смысл, ибо есть наказание за наши грехи. Все дело в том, настаивает здесь Николай Бердяев, что «в нашем греховном, злом мире оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходит и процесс разложения. Слишком часто бывает так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающихся сил, и тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции, тогда происходит разрыв времени, наступает прерывность, происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными и которые, если смотреть сверху, а не снизу, означают суд смысла над бессмыслицей действия Промысла во тьме». «Трудно понять тех христиан, – говорит Николай Бердяев, – которые считают революцию недопустимой ввиду ее насилия и крови, а вместе с тем считают вполне допустимой и нравственно оправданной войну». По сути Николай Бердяев в своем, процитированном мной тексте, повторяет учение Карла Маркса о революции как повивальной бабке истории, правда, в его религиозной интерпретации.

И продолжая изложение своей теории революции, Николай Бердяев, вопреки всему гуманистическому пафосу и многих предшествующих работ и гуманистическому пафосу многих страниц тех же своих «Истоков», вдруг неожиданно (по крайней мере для меня, со студенческих лет «веховца» по мировосприятию) заявляет, что не надо боятся крови и насилия революции. Ведь «война совершает еще большие насилия и проливает еще больше крови. Революция, совершающая насилие и проливающая кровь, есть грех. Но и война есть грех. Часто еще больший грех, чем революция. Вся история есть в значительной степени грех, кровопролитие и насилие… Революция есть грех и свидетельство о грехе, как и война есть грех и свидетельство о грехе. Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами

творят зло; в революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории…»

И последние слова Бердяева, имеющие уже прямое отношение к большевистской революции и судьбе России. Попытки отрицать всечеловеческий смысл революции равносильны покушению на смысл истории. Да, «революция ужасна и жутка, она уродлива и насильственна, как уродливо и насильственно рождение ребенка, уродливы и насильственны муки рождающей матери, уродлив и подвержен насилию рождающийся ребенок. Таково проклятие греховного мира. И на русской революции, быть может больше, чем на всякой другой, лежит отсвет Апокалипсиса. Смешны и жалки суждения о ней с точки зрения нормативной, с точки зрения нормативной религии и морали, нормативного положения права и хозяйства. Озлобленность деятелей революции не может не отталкивать, но судить о ней нельзя исключительно с точки зрения морали (выделено мной – А.Ц.)» [2, С. 107-109]. А потому, что следует из приведенного выше бердяевского учения о революции, кровь русской революции и «палачество» ее вождей не должно вести к унынию, ибо в большевистской революции была заложена особая историческая миссия народа. «Миссия русского народа, – считает здесь Николай Бердяев, – должна осознаваться как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не только в России, но и во всем мире. И это согласно с русскими традициями» [2, С. 121].

И как все это понять? Несколькими страницами выше перед процитированным текстом Николай Бердяев осуждает марксизм и в частности Ленина за то, что они рассматривают зло как необходимое условие осуществления добра. Несколькими страницами раньше и позже этого текста, посвященного изложению своей теории революции, Николай Бердяев осуждает марксистов, Ленина за то, что они отвергли христианскую мораль, мораль сострадания и любви к ближнему, а здесь Николай Бердяев оправдывает «озлобление деятелей революции», оправдывает то, что он сам называет неслыханной жестокостью и неслыханным насилием в истории человечества.

И самое важное в этом тексте, уже политические и геополитические выводы, которые следуют у Николая Бердяева из его убеждения, что большевистская революция воскрешает, правда, в уродливой форме замысел божий, смысл истории, несет на себе отпечаток особой исторической миссии. Во-первых, из этого следует, подчеркивает Николай Бердяев, что контрреволюция, то есть свержение власти большевиков внутренними, а тем более внешними силами, то есть попытки военным способом разрушить то, что он сам называет «деспотическим насилием» над русским народом, было бы вредно не только и не столько потому, что привело бы к унижению России, утрате суверенитета, но и потому, что «поражение советской России было бы и поражением коммунизма, поражением мировой идеи, которую возвещает русский народ» [2, С. 120-121]. Николай Бердяев считает, что если победа большевиков была порождена духовными особенностями русского народа, то и власть большевиков должна быть преодолена внутренним духовным перерождением русского народа. То есть по этой логике русские должны страдать от того, что он называет «советским крепостным правом», пока не дойдут до того, что он считал «дном революции». Но самое страшное, что его абсолютно не волнует, сколько миллионов людей будут страдать от этого советского крепостного права, как долго будет длиться это самопреодоление русскими своего русского большевизма. И везде, во всех этих рассуждениях, во главу угла становится мистика русской истории, вера в то, что рожденные русским коммунизмом страдания нам предначертаны сверху. Так что нет никакого шараханья, просто, как у каждого мистика, вера интуитивная берет верх над разумом и голосом совести. Бердяев никогда так и не спросил себя: «Может быть я ошибаюсь? Может быть, был прав Александр Герцен, который считал, что каждое поколение есть цель сама по себе?»

По сути, в этом процитированном выше тексте Николая Бердяева присутствует отказ от всех тех ценностей и идей, которыми сопровождался в начале XX века, в предвеховский и веховский период уход Николая Бердяева от марксизма. Самое важное. Здесь Николай Бердяев во имя, на мой взгляд, псевдонаучной объективности отказывается и от христианской морали и гуманистиче-

ского «человек не может быть средством». Ведь он, Николай Бердяев, сам говорит, когда речь идет об оценке революции, то нет места ни для «нормативной религии и морали, нормативного понимания права» [2, С. 109]. И получается, что сам же Николай Бердяев отказывает от обычного понимания Бога, христианской морали во имя оправдания высшего смысла революции.

Когда речь идет о революции – «все дозволено». Здесь мы имеем дело с последователем Ницше, который был убежден, что понять подлинный смысл человека и человеческой истории можно только став выше противоположности добра и зла. По сути, присутствующая здесь идея, что христианская общечеловеческая мораль не является универсальной, не является законом, нормой при оценке исторических эпох и поступков исторических деятелей, является полным отказом от той системы ценностей, исходя из которых Николай Бердяев, кстати, как и Семен Франк, разоблачал аморализм философии Константина Леонтьева. Ничто так, как тогда, в 1904 году, как я уже обращал внимание, не осуждалось молодым начинающим философом-идеалистом Николаем Бердяевым, как леонтьевское «цель оправдывает средства», как его «брезгливое отрицание всякой морали» и его убеждение, что «все дозволено во имя высших мистических целей». Николай Бердяев тогда обращал внимание, что концепция истории Константина Леонтьева, концепция так называемого «научного» подхода к истории исключает нормальный подход к ней, саму возможность отличать эпохи страданий и мук от эпох достойного человеческого существования. И тем самым снимает право на сострадание к жертвам насилия Николай Бердяев тогда, когда рассматривал Константина Леонтьева как предшественника Ницше, ибо, как и немецкий философ, восставал против права человека на сострадание к мукам и бедам ближнего. И здесь Николай Бердяев цитирует из творчества Константина Леонтьева все, что, с его точки зрения, неприемлемо, противоречии ценностям христианства, гуманизма и морали. «Какое дело, – писал Константин Леонтьев, – честной исторической, реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдо-

бавок, столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самых стонов человечества?» Леонтьев, комментирует этот текст Николай Бердяев, любил «носить маску жестокости и надморальности» [3, С. 344 – 345].

Неожиданной для многих оказалась проснувшаяся в Николае Бердяеве вера в особую русскую миссию, в особое всечеловеческое предназначение русского народа. Еще в своих статьях, написанных во время революции 1917 года и начавшейся гражданской войны, в статьях 1917 – 1922 гг., собранных в книге «Падение священного русского царства», Николай Бердяев, кстати, как и Иван Бунин в своих «Окаянных днях», дает просто зубодробительную критику попыткам оправдать кровь и насилие революции особой исторической миссией России, которая, якобы, была Богом призвана спасти мир от духа буржуазности. Вместе с русской революцией 1917 года, пишет здесь Николай Бердяев, «наступил конец… линии, идущей от Киреевского… Славянофильство, народничество, толстовство, русское религиозное самомнение – кончены, трагически изжиты… Русские иллюзии кончились безобразной оргией… После очищения от грехов, от старой лжи нужно найти новую жизнь на новых путях. Исстрадавшиеся русские люди должны будут обратиться к долгому труду цивилизации (веделено мной – А.Ц.). Россия имеет свою миссию… Но выполнение этой миссии лежит через культуру, через долг послушания бремени цивилизации. Мы приняли свою отсталость за свое преимущество, знак нашего призвания и нашего величия. Но тот страшный факт, что личность человеческая тонет у нас в первобытном коллективизме, не есть наше преимущество, ни знак нашего величия. Совершенно безразлично, будет ли этот всепоглощающий коллективизм «черносотенным» или «большевистским». Русская земля живет под властью языческой хлыстовской стихии. В стихии этой тонет всякое лицо, оно несовместимо с личным достоинством и личной ответственностью. Эта бесовская стихия одинаково может из недр своих выдвинуть не лица, а личины Распутина и Ленина. Русская «большевистская революция» есть грозное всемирно-реакционное явление, столь же реакционное по своему духу, как «распутинство», как черносотенное хлыстовство. Русский народ, как и всякий народ,

должен пройти через религиозную и культурную дисциплину личности. Для этого необходимо отказаться от русских иллюзий» [4, С. 750 – 751].

Программа спасения России, изложенная здесь Николаем Бердяевым, на самом деле является общей для всех авторов сборника «Из под глыб», в написании которого он участвовал летом 1918 года. Спасение России он, как и, к примеру, Петр Струве, Семен Франк, видит в усилии, в труде по преодолению своей цивилизационной отсталости от Запада. Необходимо, говорит Бердяев, освободить народ от его тьмы, которая стоит за всеми ужасами революции, за «его первобытной дикостью, тьмой, хулиганством, жадностью, инстинктом погромщиков, психологией взбесившихся рабов», облагородить, просветить народ, который «показал звериную морду» [4, С. 748]. И сама большевистская революция, писал здесь Николай Бердяев, ничего не изменила в народе. Совсем недавно еще «народ» был черносотенным и солдатскими штыками поддерживал самовластье и темную реакцию. Теперь в народе победил большевизм, и он и теми же солдатскими штыками поддерживает т.т. Ленина и Троцкого» [4, С. 748].

Спасение России тогда, во время революции и начавшейся гражданской войны, Николай Бердяев видел в освоении русским человеком существа западной цивилизации, в том, чтобы именно пройти путь «просвещения и просветления», просветления ума, путь преклонения перед истиной, законом, правдой. «Пора излечиться от утопии, от зловредной социальной мечтательности, пора религиозно смириться перед реализмом, перед правами относительного и среднего… Вера в «святую Русь» ныне звучит нестерпимой фальшью и ложью» [4, С. 749].

Но, как мы видим, спустя без малого двадцать лет в своих «Истоках» он не только повторяет веру славянофилов в особую историческую миссию русского народа, но придает ей уже религиозный, надчеловеческий смысл. Речь теперь уже идет не о цинизме Ленина и Троцкого, цинизме большевиков, сумевших использовать в своих корыстных целях первобытную дикость, жадность, чувство мести и злобы русского народа, а об «отсвете Апокалипсиса», об

осуществлении особой «миссии русского народа», которая им самим, народом, «осознается как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не только в Росси, но и во всем мире» [2, С. 120 – 121].

И теперь, призывает нас Николай Бердяев, не надо печалиться и возмущаться «озлобленностью деятелей революции», не надо возмущаться «озлобленностью Ленина и Троцкого» или озлобленностью Григория Зиновьева, который призывал к физическому «уничтожению десяти миллионов, которым, как он считал, большевики не имеют, что сказать». Теперь надо всеми силами ума и души сопереживать великому делу, начатому большевиками. Все дело в том, что согласно этой логике русский коммунизм, советская, а на то время сталинская Россия в любом случае выше и чище, чем буржуазный Запад.

И правда состоит в том, на что обращает внимание в своем очерке о жизни и деятельности Николая Бердяева Ольга Волкогонова, что чем дальше Николай Бердяев уходил от времен создания «Из под глыб» (1918 г.), написания своих «Размышлений о русской революции» (1923 г.), тем слабее чувствуется у Николая Бердяева родивший его как философа христианский пафос сострадания к мукам человеческим, пафос осуждения насилия над человеком, тем чаще и сильнее он защищает коммунистическую Россию Ленина и даже Сталина. И в результате «получилось, что атеистический, жестокий, тоталитарный строй с Гулагом, свирепой цензурой все-таки лучше, чем буржуазный сытый Запад…» [9, С. 362]. И парадокс состоит в том, что в славянофильстве братьев Киреевских было куда больше западничества, чем в славянофильстве позднего Николая Бердяева, который вообще снимает вопрос о человеческой цене осуществления особой коммунистической миссии русского народа.

И на самом деле никакого парадокса нет. Так как по собственному признанию он, Николай Бердяев, «являлся сторонником бесклассового общества» и в этом отношении (как он настаивал – А.Ц.) «я наиболее близок к коммунизму». Поэтому для него, Николая Бердяева, даже самая бесчеловечная и жестокая власть большевиков есть благо по сравнению со старой Россией, ибо она движет историю к его идеалу. И здесь оказывается, что по сути репрессии и рас-

стрелы людей не очень смущают христианина Бердяева, ибо они, эти муки и страдания русских людей, якобы двигают человечество к высшей справедливости, к бесклассовому обществу. И здесь оказывается, что в вопросе о роли и месте насилия в истории на самом деле нет никакой разницы между якобы веховцем Бердяевым и последователем якобинства Владимиром Лениным.

Есть все основания утверждать, что особенность мировоззрения Николая Бердяева, все то, что принято называть его «непоследовательностью», шатанием из одной крайности в другую, идет, на что он сам обращает внимание в своей исповеди «Самопознание», от его природного, трудно преодолимого отвращения к тому миру, который есть, к тому, что он называет телесностью. «Иногда, – признается он, – я с горечью говорю себе, что у меня есть брезгливость вообще и к жизни и к миру… Я часто закрываю глаза, уши, нос… Я так страстно люблю дух, потому что он не вызывает брезгливости» [5, С. 582]. И в этом болезненном брезгливом отношении к миру, который есть, он как раз и близок (о чем он сам заявляет неоднократно) к Ницше и Карлу Марксу. А в духовном, нетелесном, как он считает, лично для него важнее всего ощущение мистики истории, мистики вечности. «Настоящее, временное» для него второстепенно. Он заявляет об этом все чаще и чаще по мере приближения к концу своей исповеди.

И из этой изначальной отчужденности от реального мира, от реального человека идет то, что Николай Бердяев называет своей «революционно-анархической настроенностью», которая «хотела бы совершенно опрокинуть этот мир» [5, С. 584]. Карл Маркс потому и остается, по его признанию, до конца дней его учителем, что им, Марксом двигало то же страстное желание не просто найти «разгадки» этого мира, а изменить его. И действительно, в основе учения Маркса о коммунизме как конечном результате человеческой истории, как переходе от «предыстории» к «подлинной» истории лежит идеализм, человеческое учение о смысле истории, не сводимом к чему-то временному, эмпирически наблюдаемому. В чем сущность марксистской философии? Она является прежде всего программой изменения мира. «Философы лишь различным

образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [15, С. 4]. Так говорил Карл Маркс в своем знаменитом 11 тезисе о Фейербахе. Что было самым существенным в творчестве Николая Бердяева для него самого? «Меня называли модернистом, и это верно, ибо я верил и верю в возможность новой эпохи в христианстве – эпохи Духа, которая и будет творческой эпохой» [5, С. 237]. В конце жизни в своей исповеди «Самопознание» Николай Бердяев прямо говорит, что «по основным своим эмоциям и оценкам я скорее «левый», революционный человек, хотя и в особом духовном смысле» [5, С. 506]. На самом деле Николай Бердяев больше революционер, чем Карл Маркс, ибо он, Николай Бердяев, пытается создать новое учение о Боге, о спасении человека. Карл Маркс мечтал о «прыжке» человека из рабства экономики в свободу творчества, а Николай Бердяев мечтает освободить человека от рабства страха перед адом и вечными муками.

Но ведь, и это очень важно, для понимания исходной философской природы мировоззрения Николая Бердяева его так называемый «космизм», вера в то, что возможно «окончательное преодоление нужды» в результате «наступления космической гармонии, преодоления материального состояния мира» на самом деле повторяет веру Карла Маркса в возможность человечества выпрыгнуть из царства необходимости в царство свободы». Еще сильнее звучат мотивы его собственного социалистического хилиазма в его словах о том, что «царство христианства будет не только на небе, но и на земле, оно будет не только духовным, но и телесным царством» [5, С. 332]. Разница между Марксом и Бердяевым состоит только в том, что первый, как атеист, связывает будущее человечества только с царством на земле, а Бердяев хочет рая и на небе, и на земле. И самое существенное состоит в том, что Бердяев, как и марксисты, как и Ленин, верил все-таки в возможность создания идеального, непротиворечивого мира и на земле [6, С. 287].

Разница между Марксом и вождями русского коммунизма, с одной стороны, и такими интеллектуалами как Николай Бердяев, с другой стороны, состоит только в том, что первые, как правило, не способны к познанию глубин

своего «я» (человек с такого рода способностью просто не сможет стать революционером, не сможет присвоить себе право убивать других людей), а вторые, как Николай Бердяев не только чувствуют, но и осознают свою революционность как изначальную эмоциональную отчужденность от мира сего. Если Карл Маркс восстал протии мира сего как мира частной собственности, то Николай Бердяев погружается в этот ненавистный ему мир уже до уровня «обыденности», «повседневности» вообще. Все его исповедальное «Самосознание» просто насыщено признаниями на этот счет, признаниями в изначальном противостоянии тому миру, который есть. Бердяев называет себя «революционером» именно в силу этого его исходного противостояния этому миру, который есть. «Я, – признается Николай Бердяев, – скорее преуменьшил, чем преувеличил степень своего разрыва с миром социальной обыденности. Я с детства находился в состоянии восстания против «иерархического» порядка природы и общества и никак не мог войти в этот порядок» [5, С. 572].

И как только мы при анализе мировоззрения Николая Бердяева перейдем с идеологического уровня на метафизический, философский то поймем, почему перечень своих учителей, наставников он начинает с Якоба Бёме и заканчивает Ницше и Марксом. Он в первых строках своего «самопознания» пишет: «Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый (выделено мной – А.Ц.) мир, одинаково чувствовал это и в первый день моей жизни и в нынешний ее день» [5, С. 257].

Кстати, а чем отличается восстание Карла Маркса против всего, что связано с частной собственностью от восстания Ницше против всего, чему люди верят? Ничем. Разница состоит только в том, что Ницше пропускал свое восстание против различия между добром и злом через свою совесть и страдал. «Я знаю свой жребий, – писал в конце своей жизни Ницше. – Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном – о кризисе, какого никогда не было на земле, о глубочайшей для совести коллизии, о выборе, сделанном против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что освеща-

ли» [16, С. 21]. А Карл Маркс в силу своего исходного, от рождения замороженного сердца в чем его упрекал родной отец, просто не мог прочувствовать, осознать чудовищность, противоестественность своих притязаний переделать этот мир.

У Николая Бердяева все же сердце больше, чем у Карла Маркса, открыто к страданиям других. Но, к сожалению, при всей своей искренности он не понимает, что в том, что он сам называл «мучительной чуждостью мне мира, этого мира в этом его состоянии» [5, С. 583], в его исходном отчуждении от того мира, который есть, в его непомерной «революционности» есть что-то болезненное, сатанинское, сугубо эгоистическое. Если в главном, в отношении к тому миру, который есть, в тебе сидит что-то ненормальное, то откуда гарантия, что рожденная твоей ненормальностью духовность нормальна. Может быть, больше истинности и нормальности в философии Василия Розанова, который в браке, в рождении детей видел прежде всего смысл божественного предопределения.

Вообще, честно говоря, углубляясь по мере возможностей бывшего советского ученого и советского человека в философию Николая Бердяева (к этому еще больше подталкивают тексты Ницше), я прихожу к страшному выводу, что вообще духовность как порождение сознательного аскетизма, сознательного садомазохизма несет на себе отпечаток болезненности, который несли в себе люди, бывшие от рождения не от мира сего. Кстати, трагедия человечества состоит в том, что оно вопреки всему, вопреки инстинкту самосохранения идет на смерть по призыву этих больных душой людей. Владимир Ленин не был способен к самопознанию, к погружению в свою душу, не был способен контролировать сидящую в нем агрессивность, жажду «истребления» мира, который есть. Но, на самом деле, жажда довести до дна катастрофу революции говорит о том, что в главном, в отношении к той жизни, которая есть, было много общего между атеистом Лениным и Николаем Бердяевым, пытавшимся создать новое «Священное писание», трактовку бога, приемлемую для XX века.

Конечно, надо быть объективным. У Бердяева больше сердца, чем было у Ленина. И именно чувство совести, отвращение к насилию, к учению о классовой борьбе увело его еще в молодости от революционной социал-демократии. Первое, что он сделал, очищаясь от марксистского учения о революции, так это доказательство самоценности «истины, добра, красоты», как проявление идеального «трансцендентности, независимого от социальной среды, классовой борьбы и т.д.» [5, С. 368-369].

Но обращает на себя внимание, что уже в конце жизни он начисто теряет способность проверять не только сомнением, но и простым здравым смыслом свою собственную философию. Есть ли существенные, рациональные аргументы, свидетельствующие, что русским, России действительно суждено открыть человечеству подлинный коммунизм, стать примером для духовного оздоровления всего человечества. Ведь сам он всегда, и в этом он был последовательным, говорил, что в моральном отношении русский человек, особенно его «бытовая жизнь», несут в себе много «низменного». На чем была основана вера Бердяева, что «исступленные оргии разделов и уравнений», кровавая гражданская война, а потом жизнь при новом крепостном праве, при «палачестве» советской власти обязательно вызовут к жизни русскую «творящую личность»? Ничего, кроме веры в чудо, в то, что дно морального падения русского человека обязательно вытолкнет его к «вершинам духовности», в его прогнозе на будущее нет.

Да, ты от рождения мучаешься от страшных снов. Ты по собственному признанию «страдаешь не в исключительные минуты, а во все минуты жизни», от «своей брезгливости, душевной и физической, брезгливости патологической и всеобъемлющей». Ты говоришь, «я так страстно люблю дух, потому что он не вызывает брезгливости… Мо брезгливость есть, вероятно, одна из причин того, что я стал метафизиком» [5, С. 582]. Все предельно честно. Но ведь, по логике, если ты ее не утратил, надо было быть честным до конца. Ведь если я стал философом, метафизиком от своей аномальности, своих недостатков, то, может быть, и в моей философии есть что-то аномальное. Не открою секрета. Уже

давно было известно, что все марксисты-революционеры страдали не столько от любви к человеку, сколько от брезгливости к тому миру, который есть. Если из-за моей брезгливости мне этот мир чужд, противен, это совсем не значит, что он на самом деле плохой, что надо умереть во имя комфорта тех, кому, как мне, этот мир чужд. Имею ли я право оправдывать насилие большевиков на людьми, над своей страной, если на самом деле нет никаких гарантий, свидетельств того, что возможен иной мир, где, к примеру, возможна эффективная экономика, основанная на моральных стимулах к труду.

И опять здесь напрашивается сравнение Бердяева с русскими марксистами, с большевиками. Ведь, как я выше пытался показать на основе воспоминаний Николая Валентинова, основная особенность большевиков состояла в догматизме, в параличе чувства сомнения, критического отношения к собственным идеалам, в неспособности проверять свои идеалы на соответствие хотя бы здравому смыслу. Ведь учение о коммунизме Николая Бердяева, соединившего социальный идеал марксизма с религией, соединившего рай коммунизма на земле с вечной жизнью на небе, еще более утопично, чем у самого Карла Маркса.

Зачем искать, как ты, Николай Бердяев, тайну мира, тайну вечности в катастрофах, рожденных революционными войнами? Может быть, больше были правы и Достоевский, и Толстой, которые видели тайну мира в простом, но в том, что есть сегодня у нас в душе, в любви, любви к другому человеку, в конце концов, просто в любви к животным. Ведь ты сам пишешь, что для тебя одна из самых страшных утрат в жизни – это смерть твоего «кота Муры», и что рай и загробная жизнь для тебя не будет иметь смысла, если рядом не будет воскресшего рядом с тобой «кота Муры». Лично меня при чтении его «Русской идеи», «Самопознания» смущало, что он, кстати, как и марксисты, как и его якобы антипод Ленин, как-то автоматически, без мысли, отвлеченно рисуют картинки счастливого мира коммунизма, преодолевшего «необходимость» и «вещественность», не затрудняя себя вниманием к самой технологии реализации своих идеалов. Бердяев все время убеждает себя, что возможен коллективный труд на обобществленной собственности и без большевистского тоталитарного госу-

дарства, без крепостного права. Но он не знает или не хочет знать, что коммунизм по самой своей природе, о чем писал уже Бабеф, есть применение армейских принципов единоначалия к организации экономики.

Никогда, на мой взгляд, так ярко не проявляется какое-то поразительное недомыслие Николая Бердяева, как в его убеждении, что можно соединить коммунизм в экономике со свободой совести, мысли, свободы политического выбора и т.д. Ведь еще в первые годы эмиграции, в первой половине 20-х Николай Бердяев в своей жесткой и четкой по мысли работе «Демократия, социализм и теократия» доказывал прямо противоположное, а именно несовместимость коллективного, планового индустриального производства, основанного на общественной собственности, со всеми ценностями христианского гуманизма.

Не знаю, может быть я не прав, но я не могу не видеть, что чем сильнее Николаем Бердяевым овладевали вера в особую историческую миссию русского народа, овладевали преданные им анафеме в статьях периода создания «Священного русского царства» иллюзии славянофильства, чем больше им овладевала вера, что именно русские должны показать человечеству «опыт осуществления социальной правды», тем меньше у него было в душе сострадания к своим соотечественникам, проходящим через муки коллективизации, Гулага, насилия ГПУ.

И при этом надо учитывать особенность происхождения самого этого учения об особой исторической миссии русского народа. Все говорит о том, что она, эта идея, вера в то, что есть особая русская идея, русская миссия возникает, прежде всего, в силу дефицита органической целостности русского народа, в силу того, что русская нация как единое органическое целое так и не сформировалась. Антон Деникин был прав, когда утверждал, что марксистское учение о классах победило именно в России, ибо у нас действительно не было нации, а было только механическое соединение при помощи самодержавия невежественного, неграмотного народа с образованным культурным меньшинством. Кстати, об этом изначальном разрыве между «темным мужицким царством» и

«очень тонким культурным слоем» как главной причине победы большевиков говорит и Николай Бердяев в своих «Размышлениях о русской революции». По крайней мере, обращает на себя внимание, что у европейских народов, сумевших в XIX веке закончить процесс формирования нации, у англичан, французов, немцев, к нашему XX веку не было никаких мессианистских настроений, никто не искал ни французскую, ни английскую, ни немецкую идею, не хотел спасать человеческую цивилизацию. Надо учитывать, что мессианизм национал-социализма – это уже реакция на мессианизм, на политику экспорта пролетарской революции III Интернационала. Бердяев был прав, когда в своей статья «Гибель русских иллюзий» утверждал, что наш русский мессианизм есть порождение нашей русской недоцивилизованности. Беда его только в том, что он никогда не читал то, что он писал раньше.

Но, на мой взгляд, и об этом, наверное, еще не было сказано, русский мессианизм, который, как правило, проповедуют представители «тонкого культурного слоя», вызван еще их критическим отношением к своему народу. Обратите внимание. Все абсолютно идеологи особой русской миссии, особой русской цивилизации – невысокого мнения о реальных моральных и духовных достоинствах своего народа, и они связывают, как правило, особую русскую миссию не с тем народом, который есть, а с тем народом, который будет. И тот же Николай Бердяев связывал особую русскую миссию не с тем народом, которого он хочет опустить до дна озверения, а с тем народом, который якобы возникает после чудесного отталкивания от этого дна кровавых оргий.

Кстати, подобная догадка о том, что идеологемами русской идеи, как правило, страдают мыслители, если не русофобы, то крайне критически относящиеся к своему народу, присутствует у самого Николая Бердяева. Он напоминает, что в своем критическом отношении к своему народу славянофил Алексей Хомяков ничем не отличался от западника Петра Чаадаева. Он, Хомяков, писал в той же «Русской идее» Николай Бердяев, менее всех идеализировал древнюю Россию и прямо говорил о ее неправдах. У него есть страницы, напоминающие Чаадаева. «Ничего доброго, – говорит он (Хомяков – А.Ц.), –

ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной» [5, С. 53].

Главный идеолог уже позднего славянофильства Николай Данилевский тоже верит, как и в конце жизни Николай Бердяев, что русский народ и славянство вообще лучше Западной Европы разрешит социальный вопрос. Но обращает на себя внимание, что Николай Данилевский тоже говорит не столько о том народе, который есть, сколько о том, который будет в будущем. Да, он считает, что почва, зачаток создания для Европы примера подлинной социальности есть, ибо, по его мнению, «при самых важных торжественных моментах» русской истории «не интерес составляет главную пружину, главную двигательную природу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело охватывающее его, когда настанет время для его внешнего практического обнаружения и овеществления» [10, С. 192]. Но при всем при этом и Николай Данилевский обращает внимание на сохраняющееся невежество и дикость простого русского народа. Даже поморы, говорит он, самые самостоятельные и самодостаточные русские люди, убивали врачей, которые приходили к ним в деревни спасать их от холеры [10, С. 343].

Николай Бердяев был прав в том, что Константина Леонтьева нельзя причислить к «славянофильскому лагерю». Но ведь и Константин Леонтьев разделял веру в особую русскую миссию. Он, как известно, верил, что остатки русского крепостного права объективно противостоят заразе обуржуазивания не только в России, но и в Европе. Ведь для него «русский безграмотный, но богомольный и послушный крестьянин эмпирически, так сказать, ближе к реальной правде житейской, чем всякий рациональный либерал, глупо верящий, что все люди будут когда-то счастливы» [14, С. 108]. Но и здесь даже нарочитое критическое отношение к моральным качествам русского человека, Константин

Леонтьев буквально восстает против Федора Достоевского, который призывал к смирению перед народом. «В чем же смиряться перед простым народом, скажите? – спрашивает Константин Леонтьев. – Уважать его телесный труд? Нет; всякий знает, что не об этом речь: это само собою разумеется, и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? Есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще личные в таком смысле качества наших простолюдинов были бы все же так достойны подражания. Едва ли надо подражать их скупости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству…» [14, С. 155].

И нет исключения из этого правила. Вера в особую миссию русского народа овладевает прежде всего представителями дворянства и несет в себе одновременно, при всем при этом, критическое отношение к моральным достоинствам народа, которому они мысленно навязывают роль спасителя человеческой цивилизации. Но и самое важное, к чему я веду. Ведь на самом деле и Николай Бердяев является подтверждением этого правила. При всей мистификации русского национального характера, разговорах об особом «апокалипсическом» характере русской души, Николай Бердяев крайне критически (и в этом он ничем не отличается от Ивана Бунина с его «Окаянными днями», от других авторов сборника «Из-под глыб», от того же Ивана Ильина, который выстроил целую иерархию недостатков русского народа, болезней его души, которые способствовали победе большевиков) относится к тому народу, который есть. Привожу только некоторые из его критических замечаний по поводу национального характера русских. «Самодеятельности же и самодисциплины народа православие не воспитало». «Для исторической жизни, для создания культуры православие не воспитало русского человека»; «Темные стихии обступают русскую душу и овладевают ею, не встречая сопротивления», – это выдержки из его «Философии неравенства», – «…у русских очень сильна склонность к автократической власти»; «Большевизм соответствует… глубокой деморализации

народа»; «Большевики осуществили народный идеал черного передела. И они вполне отвечают русскому нигилизму»; «Слабое правосознание русского народа и отсутствие в нем настоящей культуры… все это бесспорные причины русской революции»; «Русский народ, вероятно, менее честный и добропорядочный народ, чем народы Запада». Это выдержки из его «Размышлений о русской революции».

В целом Николай Бердяев в своем творчестве упоминает обо всех классических недостатках русского народа, описанных и в русской литературе, и в сборниках «Вехи», «Из глубины», в русской общественной мысли, посвященной анализу духовных предпосылок победы большевиков. Я попытался собрать воедино все эти слабости и негативные стороны русского национального, прежде всего крестьянского характера, и получается на самом деле мрачная картина. Другое дело, что многие народы болеют теми же болезнями, которыми болела русская душа накануне революции. Итак, я перечисляю все эти, описанные в русской литературе, слабости и изъяны русской души. Слабо развито чувство совести, стыда, чувство вины за то, что совершается то, чего себе не желаешь; неразвитость личного достоинства, отсутствие развитого чувства индивидуальности; фанатичное преклонение перед грубой силой; недоверие простого народа к культуре и особенно к образованным, культурным людям; гордыня собственным безумием и иллюзиями; слабо развитое желание созидать, изменить мир; нет ценности права, правового сознания; податливость настроениям апатии; легковерие от лености ума, нет ни интереса к истине и правде, а тем более смирения перед истиной; нет чувства реальности, русский человек видит только те стороны предмета, которые ему нравятся, но обходит вниманием то, что не нравится; слабость религиозного чувства, Бог не идея, не переживание, не поиск смысла Бога, а обряд, часть быта; максимализм, нет чувства меры, способности остановиться; безбашенность, своеволие, что хочу, то ворочу, нет мысли о последствиях; чувство жертвы, настроения осажденной крепости, кругом враги; жестокость, жизнь человеческая никогда ничего не стоила, инертность мышления; справедливость как абсолютное равенство, чтобы никто

не жил лучше меня; азиатская доблесть смирения; отсутствие навыков самостоятельного мышления, нет желания думать, искать причины своих бед и поражений.

И мне думается, что наш русский мессианизм, всегда связанный с поразительным равнодушием его творцов и проповедников к мукам и страданиям своих соотечественников, которые обречены воплощать очередные мифы об особой русской миссии, порожден их негативным отношением к своему собственному русскому народу. Всем этим идеологам и проповедникам особой русской миссии нет дела до цены достижения их мечты, нет сочувствия к тем, кто тянет лямку их образа будущего человечества, ибо, на самом деле, им не жалко своего, как они считали, недоцивилизованного и невежественного народа. Может быть, больше всех превзошел в этом, на мой взгляд, циничном отношении к проблеме жертв именно Николай Данилевский. Для него даже «нашествие татар», «татарские набеги», несмотря на то, что они «были тяжелы и опустошительны», были благом, ибо были, как он считает, «единственно возможным смыслом объединения князей и мелких вождей в одно государство. Во имя того, чтобы якобы народная воля была бы спасена и племена слились бы в один народ под охраною одного государства, был необходим новый прием государственности, и он был дан России нашествием татар» [10, С. 250 – 251]. И, конечно, несколько страниц своей книги «Россия и Европа» Николай Данилевский посвящает доказательству важности русского крепостного права как самого важного условия укрепления силы государства. «При тогдашних условиях не было другого средства, как закрепление всего народа в крепость государству. Годунов почувствовал его необходимость. Петр его завершил» [10, С. 253].

И теперь, в конце концов, понятно, что Николай Бердяев в своей философии русской истории, в своей вере в особую мистику и особое историческое предназначение русского коммунизма, на самом деле был последователем традиционного русского мессианизма. Такой он был на самом деле. Его пугала «опасность обуржуазивания» советской России, которая с его точки зрения была «очень сильна», но он одновременно готов был примириться во имя «осу-

ществления социальной правды в человеческом обществе», как я уже обращал внимание, с «насилием, преступлениями, жестокостью и ложью советской власти» и даже с процессами 1937 – 1938 годов. Бердяев, который осуждает Константина Леонтьева до конца жизни, до «Русской идеи», в том, что тот «не допускает моральных оценок в отношении к жизни общества», настаивал на том, что «смешны и жалки» попытки судить о русской революции «С точки зрения нормативности религии и морали, нормального понимания права…»

И если, как настаивал Лев Троцкий, Ленин был несомненно национальным типом, то и Николай Бердяев во многом, по крайней мере, в его отношении к преступлениям большевизма, в его отношении к коммунистическому эксперименту, был национальным типом. Так что на самом деле не очень корректно распространенное у нас до сих пор противопоставление Бердяева как одного из создателей русской религиозной философии начала XX века марксисту, вождю октябрьской революции Владимиру Ленину.

Литература

1. Белый Андрей. Между двух революций. – М., Худ.лит-ра, 1990.
2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., Наука. 1990.
3. Бердяев Н.А. Опыты философские, социальные и литературные. М., Канон+, 2002.
4. Бердяев Н. Падение священного русского царства. – М., Астрель, 2007.
5. Бердяев Н. Русская идея. – Харьков, «Фолио», Москва, АСТ, 2002.
6. Бердяев Н. Философия неравенства. М., Мысль, 1990.
7. Валентинов Н. О Ленине. – Нью-Йорк, Телекс, 1991.
8. Вехи. Из глубины. – М., Издательство «Правда», 1991.
9. Волкогонова О. Бердяев. Жизнь замечательных людей. – М., Молодая гвардия, 2010.
10. Данилевский Н.Д. Россия и Европа. – М., Алгоритм, 2003.
11. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 11.
12. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43.

13.Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44.

14.Леонтьев К. Цветущая сложность. – М., Молодая гвардия, 1992.

15.Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. Т. 3.

16.Рюдигер Сафрански. Ницше: Биография его мысли. – М., Дело, 2016.